



## А. И. ЦВЕТАЕВА

### Из «Воспоминаний»

Кто дал мне эту удивительную книгу? В моих руках — дневник старика — «Уединенное». Читаю, точно свое. Так знакомо!.. И мы с Мариной<sup>1</sup> не знали, что *есть* такой человек!.. Сколько лет мы прожили на земле в *то же* время и не знали — он о нас, мы — о нем!

«Как ни сядешь, чтобы написать что-то: сядешь и напишешь *совсем другое*. Между “я хочу сесть” и “я сел” — прошла одна минута. Откуда же эти *совсем другие* мысли, на *новую* тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы их *именно* записать...»

«Почему я так желаю известности (или влияния) и так (иногда) тоскую (хотя иногда и хорошо бывает от этого на душе), что “ничего не вышло из моей литературной деятельности”, никто за мной не идет, не имею школы?..»

Больше *одна* я не захотела читать.

Я бросилась к Марине. Марина отобрала у меня книгу, села за нее — и от нее встала в знакомом мне в ней книжном бреду. Ее глаза были пусты и жалобны. Она отсутствовала. Она была там, в книге, с неведомым от века родным человеком. Но на этот раз право первенства было явно мое. И я тянула Марине мое письмо к Розанову — его зовут Василий Васильевич, и он живет в Петербурге. А сегодня Макс<sup>2</sup> приедет из Коктебеля, и я ему расскажу, — он, наверное, знает о нем, может быть, даже *его* знает?..

«Дорогой Василий Васильевич! Только что кончила Ваше “Уединенное”. Вам 59 лет, а мне 19, но никакой разницы, потому что Вы пишете о том, что *вне* возраста, и Ваша книга — родная...» Так начиналось примерно мое письмо.

— Ты *нарочно* подписываешься не «Цветаева»? — спросила Марина, прочтя мое «А. Трухачева».

— Конечно. Мне не надо вовсе, чтобы он мне ответил как дочери папы. Папу он не может не знать. Посмотрим, отзовется ли на фамилию, ему *неизвестную*...

— Молодец! Я бы тоже так сделала...

В этот же день пришел Макс. Он выслушал мое волнение и сказал, улыбаясь:

— Мне жаль тебя огорчать, Ася, но я думаю, что он тебе не ответит: Розанов стар, перегружен литературным трудом, большая семья — сама же читала: «Папа, учебнички...», «Папа, башмачки...» — и вряд ли у него станет сил отозваться...

— *Ответит!* — сказала я.

Прошла неделя. Начала ли я уже поникать? — когда почтальон передал мне два письма со штемпелем «Петербург».

Мелкий, без строк — еще беспорядочней, чем почерк Эллиса<sup>3</sup>, — полупрямые, полукосые буквы, разорванные слова...

Первое, с простой маркой, было коротко. Второе — заказное, длинное — было послано вдогонку первому. «Настя, — писал он, сделав мне чужое уменьшительное из «Анастасии Ивановны Трухачевой», — как ты? Что ты пережила? Откуда такой *глубокий* тон в 19 лет?..» И взволнованно текли с его пера повелительно в слова — чернила, рождая каракули откровенья и дружбы, удивленья и интересов, беспорядочного рассказа о себе и вспышки вопросов — мое безмерное, без названья, счастье в ответ. Я читала на ходу, вверх по короткой лесенке парадного хода, застыв на какой-то ступеньке, все позабыв, застрянув в таинственном колодезном срубе непонятной, наспех прочитанной фразы; я читала, войдя к себе, держа на коленях Андрюшу<sup>4</sup>, мне переданного няней, читала, когда он заснул, читала и перечитывала оба и вновь писала — и с трофеем поднималась по горе на дачу Редлих — к Марине.

— Марина! Письмо от Розанова! Два! Сразу! Вот Макс удивится! Помнишь, он говорил, что переписка если и будет, то что-нибудь вроде Мопассана и Марии Башкирцевой<sup>5</sup> — недоразумение... Читай!

Марина прочла. Ее лицо пылало за меня.

— *Теперь ты напишешь* ему «Цветаева»? — И уже не мне, а ему: — *Молодец!*

...Ночь. Я сижу за дневником, отослав мой ответ Розанову, и я счастлива, как только может человек на земле быть счастливым. И другого счастья — не надо! Не хочу любви! Спаянности с *одним*, терема! Ни с кем! Со всеми! Вдохновенные дружбы, переключка чувств, мыслей... Свобода! И писать и писать...

Когда Розанов узнал, что Трухачева (фамилия, которой я в первый раз подписалась) я по мужу, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил мне, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека. Это еще более сроднило нас. Он обещал мне прислать свои книги и ждал нашей встречи — я обещала, что осенью, перед задуманным отъездом в Париж, приеду в Петербург. Он писал о своей усталости, старости, загруженности литературным трудом, о том, что везет воз большой семьи, дивясь раннему опыту жизни во мне, но не сомневался во мне, верил и, находя между нами много соответствий, считал меня родным человеком. Я искала и не находила его «Опавшие листья». <...>

\* \* \*

«Туман, лондонский» — так говорят о Петрограде. Я вступаю в него в первый раз.

Нет, это не туман, туман стелется (вечером, над болотом, далеко на лугу в Тарусе). Это спущены завесы сверху, а между этих завес, в них исчезая, снизу стелются им навстречу очертания домов. Не менее волшебны, чем Венеция!

Я не ликую, как многие, что мы, нападающие войска, «захватываем» что-то. Отчего я только вновь и вновь потрясаюсь звуком солдатских песен, уходящих с ними — умирать? Воем баб на вокзалах, провожающих сыновей и мужей... Спешу. Стыдно туда опоздать — к шестидесятилетнему, к восьмидесятилетней Камковой<sup>6</sup>, которая ждет!

Туман и озноб. Еле видны дворцы у остановки трамвая, где его жду, стерегу огонек за поворотом... Дождь? Запахи в пальто, втягиваю шею, как птица нахохленная. Гляжу в двери, высокие, пугающие чуждостью, как в квартире того «философа», откуда завиделся издали и шагнул мне навстречу Василий Васильевич Розанов. Молниеносное, вне воли — глаза в душу — наблюдение: выше, чем думалось, среднего роста, ждала меньше, суше. Лоб — вроде папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие золотые очки на старых глазах... Но глаза?! Нет, глаза совсем не похожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства — и у папы шире глядят — уже, острее и хитрые, что ли?? И в этой неизбежной ему «хитрости» — тоска, и уже побарывают смущение, и уже источают ласку — какие путанные, какие исстрадавшиеся глаза!

Из-за них не сразу услышала голос. Из-за них не сразу нашла свой. Задохнулась как-то, будто охрипла вдруг. Кажется, о порог споткнулась? И враждебный свет, яркий, из чьей-то стереотипной столовой, которая оказалась — его. Щурюсь (неприлично, к глазам лорнет не поднимаю) и от этого вижу еще смутнее, чем чувствую. Нескончаемый переполох во мне. Но и не только во мне — в доме! Звуки шагов? Поспешное двиганье стульев? Отовсюду — люди. Девушки. Мальчик-подросток, головастый, на отца похожий... Но, раздвинув (детей? стулья?) впереди, — женщина. Пожилая, большая, добрая, настороженная, ласковая хозяйка. Мать детей и жена! Не понимающая. Читала ли мои письма? Чем встревожена? Какое глупое положение! И в сердцах на себя, внезапная трезвость... Поднимаю глаза «воспитанные». С улыбкой — руку. Великолепно обузданный голос (совсем как Марина! О, ее нет сейчас!):

— Цветаева...

Фамилия ли? Интонация? В нужный миг нужное движение к рукопожатию? Все стало в порядок: вмиг, как в театре, — вверх занавес!

Каждый актер — свое место. Нужные слова, и покой у стола, сразу ставшего столовым, и уже золото чая в светлом фарфоре — в моей руке. Не расплескать бы на блюде, ставя хрупкое сооружение на скатерть. Не потерять бы тон речи... (О, как, как ненавижу мещанство «семейного счастья», как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...) Пропустила огонек за поворотом! Уже у плеча звонок трамвая. Еле успела вскочить!.. <...>

«И еще говорят, что Достоевский выдумывает такое, что бредовый писатель! Вот бред — рукой подать!» — думала я, добираясь по широким и узким вечерним улицам до редакции, где оставался подолгу работать Розанов, ждал меня. И несправедливо я вчера мысленно на его семью обрушилась за ее кажущееся благополучие! За что? За любовь, в ней живущую? За заботу всех обо всех и о нем? За прокаленную преданность жены его, матери его детей? Мещанством назвала! Вот это было мещанство во мне — жест дешевый... И мелькнуло перед глазами личико одной из дочек его, запомнившееся. Без красоты милое, умное, худенькое... чем-то похожее — на него? Таня... А он похож — чем-то — на Федора Михайловича...

И вот мы сидим вдвоем в глубокой тихой редакционной комнате; он отбросил рукописи и книги, без конца говорим... Он слушает мой рассказ о моей будущей книге, ее перепишу, пришлю, и он не прерывает поток моего утверждающего отчаяния, что нет Бога, мое полное отвержение веры. Все знакомо ему.

Понятно. И корни видны. Он не ополчается на мой протест против веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый, живучий, старый и молодой, дряблый и закипающий голос говорит мне о том, какие еще перемены меня ждут...

Часы идут, вечер, поздно. А мы все говорим, не можем расстаться.

— А все-таки, Василий Васильевич, я чувствую, что больше вам сил отдам, чем вы мне! Что до конца, до самой глубины вы меня не поняли. Нет, постойте, дайте сказать! Если бы поняли по-настоящему, вы были бы счастливы мной! Я была бы вам драгоценной находкой! Весной в вашу старость! А вы...

Он прерывает меня:

— Слушай, Ася, ты не права. Ах, как ты не права! Это — от молодости, от нетерпенья... Пойми же меня: я стар! У меня — семья. Столько людей на мне! Разные возрасты. Столько работы! Не души во мне не хватает, как тебе показалось, а только сил... Времени!..

Я слушала, стараясь понять! Весной в его старость! Эти слова я от него услышала — сказал их мне в наше свиданье в 1917-м, три года спустя.

Начало вечера. Мы снова долго сидели с Розановым в редакции. Я рассказала ему вкратце Маринину и свою жизнь. А теперь он идет показать мне улицу, где жил Достоевский. Он попробовал меня убедить, что счастье женщины — в семье, в любимом мужчине... Не захотела слушать! Я, может быть, мало женщина? Хватит мне, не хочу!

— Ты прочти мое «Люди лунного света» — понравится. — И еще мне: — Нет, ты — не бархат, ты — шелк. Шелестящий шелк. В тебе есть тончайшая сталь — твой лунный свет!

...Туман — густой. Диккенсовский. Темнота. Он ведет меня под руку. Тяжелый, сырой воздух, неуют мгlistых фонарей, редких. Безлюдье. Узкая улица (мне чудится мостовая — в гору, мост или — Кузнечный переулочек<sup>7</sup>). Он говорит: «Тут он жил, вот его дом!» Подымаю голову, и вдруг — трепет озноба. Испуг! Бредовая уверенность: я иду с Достоевским! Туман, огни — я схватила за руку Розанова... (но и почти семьдесят лет спустя я эту минуту помню).

Через два часа я стою у окна в поезде, ночь, полет... Курю. Петроград тает лунной мглой.

\* \* \*

В крестные отцы Алеше я выбрала Розанова. Мы переписывались. Откормив Алешу, я поехала в Петроград — отдохнуть.

Остановилась у старшей сестры Сережи, Анны Яковлевны Трупчанской<sup>8</sup>.

С Розановым мы не виделись два с половиной года. Встречаемся как родные. В его кабинете беседа нескончаема. Его умиленное лицо, старческая гордость, что к нему, шестидесятидвухлетнему, приехала я, двадцати трех лет! Революция, война, его старость и юность моя — все смешалось.

— Ты — моя весна! — говорит он смеясь и хочет непременно со мной сняться на память, и мы идем к фотографу, но, когда карточки готовы, я ему на них кажусь непохожей.

— Я с тобой как молодой... — удивляется он.

— Вот потому так и хорошо со мной, — отвечаю я, — что я вам товарищ и спутник, и когда мы бродим по улицам — разве вы не чувствуете, что мы как два бурша — старый и молодой, два — мастеровых из гофмановских сказок?

Бродили, говорили о всех переменах в стране. Тогда возлагали большие надежды на Временное правительство, — может быть, накормит страну? Но мне надо возвращаться к моим сыновьям, а у Марины — две дочери, как жизнь летит, нам уже двадцать пять и двадцать три года!

Розанов едет проводить меня на вокзал. Мы берем билет. Солдатами забиты поезда. Он волнуется, как я поеду одна. Я езжу с шестнадцати лет, я ничего не боюсь. Но Розанов трогательно, как отец, поручает меня кондукторше, поясняя, что «не от мира сего» и чтобы меня никто не обидел...

Тогда же на прощанье он рассказал мне: «Ася, я для твоего ума исходил вчера пол-Петрограда, ища у букинистов и у друзей первую мою философскую книгу “О понимании” — так я хотел тебе ее подарить, но ее не нашлось — нигде»...

